

СТИХОТВОРНЫЕ «ПРИТЧИ» 1990 – 2000-Х ГОДОВ

Сюжеты и жанровая модификация

В журналах за последние четырнадцать лет нам удалось обнаружить шесть стихотворений, в заглавии которых содержится их жанровое определение, по мнению авторов. Справедливость авторской жанровой номинации может быть оспорена в каждом случае при более близком рассмотрении, однако если анализировать сюжет этих произведений в связи с традицией жанра притчи, то можно говорить о модификации жанра, а не его неправильном определении. Это «Притча Бессудного» (1995) Дмитрия Сухарева [Сухарев, 1995], «Притча о неблудном сыне» (1997) Анатолия Наймана [Найман, 1997], «Притча о двух врачах» (1997) Сергея Стратановского [Стратановский, 1997], «Притча о тропе» (2004) Виктора Максимова [Максимов, 2004], «Притча» (2005) Руслана Кошкина [Кошкин, 2005], «Притча о благочестивой старухе» (2008) [Косенков, 2008] Бориса Косенкова. При всем несхождении тестов и авторских поэтик нам показалось возможным найти несколько объединяющих их признаков в сфере сюжета.

1) Обращает на себя внимание общее тематическое сходство всех стихотворений, сходство тональности. Во всех идет речь о событиях ужасных и неприятных, о смерти и убийствах, пусть в разных масштабах. «Торгашей» «режут, как ягнят», пытавшегося сбежать «дорежут до конца»; «геронтолог» «смертельные дозы... // вкалывать стал старикам // дедам-бабкам недужным // ненужным»; «Руки простирая, как слепой, // шел он к смерти гибельной тропой», «И, дыша сырым могильным хладом // на того, кто, как в тумане, брел, // смерть была не впереди, а рядом»; бесчинствующих гостей, творящих насилие, ожидает «вечный сон гробовой», из которого их уже «ничто не вырвет». Старуха «держала в страхе целый дом», «по стенам, бормоча проклятья, // она стучала, что есть сил», «зловредная старуха // в аду веками напролет // в смоле кипящей воеет глухо // сквозь намертво зашитый рот».

Даже в «Притче о неблудном сыне», хотя на поверхности текста нет смертей, но много негативного: «Жизнь – это зеркало с отражением кого-то, // кем ты не стал, а мог бы, ну, скажем, вора... // твой негатив...»; «чуть не спился, // жизнь промотал»; «не обижайся, что ты не счастливей его». Притча о блудном сыне тоже подразумевает смерть и не только сына, который был к ней близок, а вернулся живым, но желание смерти старого отца, его духовное убийство для своего блага – исходный импульс этой притчи: «Младший сын приходит к отцу: он полон сил, полон желаний <...> И не может он ждать больше, и отцу своему он говорит: Отец, ты зажил; пока ты умрешь, во мне увянет жизнь <...> Умри, умри для меня, будь как мертв! Ты мне не нужен, но то, что я от тебя могу получить, я могу теперь получить <...> Так говорим мы и по отношению к Богу; не так

грубо, не так прямо, но так же жестоко» [Антоний Сурожский, 1991: 16–17; цит. по: Новикова, 1996].

Таким образом, общее сюжетное ядро здесь – убийство как цель и как исходный импульс, как итог и как наличное состояние бытия. Этот сюжет обращает к одному из «старинных» значений слова «притча», приводимому А. Потебней: «несчастный случай», «несчастье» [Потебня, 1990: 239]. Этот сюжет обращает и к жанровой характеристике: «...кажется иносказанием, ...попыткой автора соотнести трагическую современность с вневременным, с универсальным, иначе говоря, родился из побуждения, всегда главенствующего в притчевой литературе» [Зверев, 1998: 241]. В 90-х в искусство пришла «чернуха», однако в этих притчах скорее действительно проявляется осознание трагизма бытия, причем черты современности не скрываются.

2) Притча принципиально «антиисторична», однако еще в древнерусской литературе, как пишет Д.С. Лихачев, эта черта трансформировалась в сторону своей противоположности. «Есть только один жанр, который, казалось бы, выходит за пределы этой средневековой историчности, – это притчи. Они явно вымышлены. <...> Они говорят не о единичном, а об общем, постоянно случающемся. <...> Но притчи повествуют о “вечном”. Вечное же – оборотная сторона единого исторического сюжета древнерусской литературы. Все совершающееся в мире имеет две стороны: сторону, обращенную к временному, запечатленную единичностью совершающегося, совершившегося или того, чему надлежит совершиться, и сторону вечную, вечного смысла происходящего в мире. <...> Временное, хочет того книжник или не хочет, все же играет в литературе большую роль, чем вечное. <...> Временное раскрывается через события. И эти события всегда красочны. Вечное же событий не имеет. Оно может быть только проиллюстрировано событиями или пояснено иносказанием – притчей. И притча стремится сама стать историей, рассказанной реальностью. <...> Она включается в историю. Движение временного втягивает в себя неподвижность вечного. <...> Притча – это как бы образная формулировка законов истории, законов, которыми управляется мир, попытка отразить божественный замысел» [Лихачев, 1969: 13]. «Притча Бессудного» явно обращает к жестокому «естественному отбору» русского бизнеса, с его «необразованностью какой». Притча Стратановского переключается с репортажами об убийстве стариков ради их квартир. Современна и притча о неблудном сыне с ее усложненной рефлексией о зеркалах, близечности, метафорами («нервный к хребту от хрусталика путь» и «сквозь линзы влаги, омывшей глаза»). Современны детали в притче о старухе: «милиейский патруль», многоквартирный дом, где слышен «ночами мерный скрип кроватей». Более отвлечены от временного притчи 2000-х с традиционной символикой пути над пропастью и разграбленного дома, однако они искупают это «красочностью» описания событий: «там, где только тучи да орел // человек путем кремнистым шел», «камень грохотал ему в ответ»; «Дети, на

что же вам руки даны?! // Дайте гостям все, что просят они. // В подполе снесь, там же бражка. // И не забудьте барашка».

3) В основе сюжета притчи – ситуация выбора между должным и недолжным. Современные притчи, представленные нам, эту ситуацию сохраняют, однако модифицируют. Если в классическом варианте выбиралось должное, то здесь ситуация ставит знак вопроса и приводит аргументы «за» негатив и недолжное, хотя понятно, что читатель все же ужаснется ему и отречется. У Д. Сухарева характерно уже имя: Бессудный, и интонации этого отказывающего в суде, избегающего суда, соответствующие. О резне рассказывается с ноткой веселого недоумения от сопротивления «торгашей», рассказчик в лагере убийц: «Заезжайте к нам во двор // на чаек да разговор»; «Позабыли торгаши, // хороши ли барыши»; «Вот один в дыру пролез // и бежит деревней в лес. // А соседи тут как тут – // гостя под руки ведут. // Ой, пастух, не уберег! // Твой ягненок убежал! // Тут кудлатого купца // и дорежут до конца». Бандиты названы «пастухами», хотя традиционно овец режут волки (ср. известную басню «Волк и ягненок»). У Стратановского «Вкальвать стал // Участковым врачом Разумихин, // За копейки горбатиться, // а Раскольников, скорбный романтик...». Подвижник Разумихин выглядит идиотом рядом с Раскольниковым, получающим «солидные бабки». Найман выбирает героем другого сына и делает его по-человечески понятным: «Ты хотел быть добрым, // между «нельзя» и «можно» занявшись торгом». Неблудный сын человек компромисса, конформист. Ср.: «притча моделирует отношение к жизни самого Солженицына. Для того, чтобы практически в одиночку победить в поединке с партией, чтобы после лагерей и ссылки иметь право говорить от лица миллионов замученных, нужно обладать негибкостью Китовраса и ходить только по прямой – не идти ни на какие компромиссы. Но тем, кто рядом с ним, очень трудно. “Всякий раз, как Солженицын применяет принцип Китовраса, – пишет женева профессор Жорж Нива, – он тяжело оскорбляет людей чувствительных и честных, но втянутых в компромисс с действительностью”» [История русской литературы..., 1998: 400]. Блудный сын Наймана Китоврас в другом: «если можно, зачем нельзя?». Неблудный сын способен понять и принять на себя грех блудного, увидев свое с ним тождество, он испытывает искреннюю любовь к отцу. Блудный же здесь представлен как отражающая поверхность, неодушевленная пустота без тех, кто любит его и встречает¹. Герой «Притчи о тропе» идет к смерти, как к должному, тогда как все вокруг настроено пренебрежительно по отношению к нему: небеса не отвечают, смерть «была не впреди, а

¹ Ср. также: «Это напоминает мне библейскую притчу – очень практичную. Всю жизнь я могу прожить гнусным эгоистом, а если обращусь перед смертью, со мной будет все в порядке, как сулит притча о блудном сыне: тебя примут, парень, добро пожаловать, ты слегка заблудился, но вернулся домой. Я держу в запасе одну карту – джокера, думая про себя: ах, я блудный!» [Фалько, 2006], – признает себя «блудным» герой с осуждением, «неблудные» честнее.

рядом», он «как слепой» не видит и не понимает настоящей ситуации. Однако что было бы верным выбором: броситься в пропасть, остановиться, пойти назад? Притча не дает на это ответа. «Батюшка», к которому обращаются «дети» «Притчи», также морально весьма сомнителен: он не только заставляет детей прислуживать «странным людям», но и отдает им на растерзание их «матушку» – все ради финальной мести-воздаяния. Однако возникает закономерный вопрос: насколько допустима такая цена за него? Все пять притч оставляют читателя не только на нравственном распутье, но и, парадоксальным образом, в нравственном тупике, из которого авторы не могут или не хотят указать выхода. Исключением здесь выглядит героиня шестой «притчи», откровенно осужденная и автором, и Богом: «Господь сварливых баб не любит», однако и здесь есть диссонанс с подразумеваемой общепринятой моралью – старуха была абсолютно уверена в райском воздаянии.

4) Жанровые признаки притчи смещаются еще в одном отношении. Античная риторика ориентировалась на экфрасис (описание), как тип высказывания, который мог «передавать целостно принцип видения мира и человека, воплощать существенные моменты данных культурных парадигм» [Максимов, 1998: 45], средневековая риторика – на притчу. «“Пластически-объективирующее описание” передавало “статичное бытие”, “проникновенная интонация” притчи свидетельствовала о “динамичном становлении, генезисе” мира» [Аверинцев, 1996, с. 13–39], притча требовала участия в истории выбором, действием. Затрудненность и неоднозначность выбора смещают в этих поэтических притчах акцент с событийности на описательность. В каждом случае перед нами скорее картина, запечатленное мгновение, чем последовательность действий. В «Притче о неблудном сыне» это игра зеркальных отражений, их рассматривание. В «Притче о тропе» это путник в горах, простирающий руки луне, за плечом видна Смерть. В «Притче», хотя в бесчинствах есть смена и развитие, они замыкаются в одно целое повторами: мы видим детей, вопрошающих отца: вот то, и то, и то, и слышим его ответы. Это серия, окидываемая одним взглядом. У Стратановского с предельной краткостью обрисована сложившаяся ситуация, где фигурки расставлены по своим местам и двигаются в пределах заданного ритма: один лечит, другой убивает. У Сухарева, хотя есть сцена действий, финал, существенно отличный от начала, есть и описательность: это замкнутое место – двор, рядом с которым лес и соседи; изобразить происходящее тоже легко на одной картине, где идет резня, заставшее «ягнят» в разные моменты, кто еще говорит, кто суетится, кто пытается сбежать. Содержание этой притчи могли бы хорошо передать лубочные картинки и разнообразия в них было бы значительно меньше, чем в картинках о блудном сыне, которые видит рассказчик в «Станционном смотрителе» Пушкина. «Притча о благочестивой старухе» тоже весьма зрелищна, хотя ситуация с выбором не осложнена – четко показан выбор неправильный.

5) Наконец, еще один существенный признак притчевого сюжета – его связь с контекстом, разомкнутость в контекст (пусть и замкнутость в себе самом). Притча всегда рассказывается в каком-то контексте. Как показал в свое время А. Бурштейн, стихотворную фаблу можно воспринимать «притчево. Притчевое понимание становится возможным благодаря незавершенности контекста. Контекст позволяет отнести все сказанное в стихотворении к одному и тому же человеку», тогда стихотворение Б. Окуджавы «Девочка плачет – шарик улетел...» по сюжету идентично восточным притчам о жизни, прошедшей между двумя хлопками в ладоши фокусника, или пока варится горшок каши в храме (все это подчеркивает эфемерность человеческой жизни) [Бурштейн, Левит, 1985]. В стихотворных притчах, которые перед нами, контекст, напротив, насыщен деталями и отсылает к другим литературным текстам, что подчеркивается как черта современной притчи И. Бражниковым: «Мне представляется, что притча сегодняшнего времени – это во многом реакция на литературное слово, слово, которое существует только внутри литературы и для литературы. Притча предполагает более широкий контекст» [Кукулин, 1999]. «Притча Бессудного» входит в цикл, который является «совместным с композитором Геннадием Гладковым музыкальным переложением благородной комедии Александра Николаевича Островского “На бойком месте”». Кроме того, этот текст играет с поэтической вариацией на тему евангельской притчи Пушкина: «К чему стадам дары свободы // Их должно резать или стричь» («Свободы сеятель пустынный...»). Пастухи «режут» свою «добычу» – «ягнят». Притча А. Наймана варьирует сюжет Оскара Уайльда, который, в свою очередь, уже и сам по себе воспринимается как притча: «Если считать Дориана Грея автором собственного портрета, то уайльдовская притча говорит о двух аспектах творчества. Во-первых, художник, погружающийся в порок ради открытия новой истины, гибнет, замаранный и подверженный разложению, как бы зараженный чужими пороками, которые он описывал (испытывал в поисках новой темы в творчестве). С другой стороны, истинное произведение искусства, пройдя ад разложения в ходе созидания, восстает в прежнем виде как новый образец красоты, даже если прототип этой красоты (Дориан Грей) глубоко порочен» [Зиник, 1996]. Неблудный сын смотрит в блудного как зеркало, а точнее, на свое отражение, измененное следами пороков, на себя, прожившего другую жизнь: «чтоб доказать ваше тождество, а не родство». В финале же происходит катарсис и обновление – он видит в зеркале «внезапный портрет // отца – сквозь линзы влаги, омывшей глаза, // не узнавая его двоящегося лица». Стратановский обыгрывает знакомый абсолютно всем по школьной программе роман Достоевского «Преступление и наказание». Благодаря школьным сочинениям и неудачным учебникам сюжет романа стал восприниматься как почти анекдотический, и следы этого видны в притчевом смехе: каламбурах «вкальвать – вкальвать», «бабкам – бабки», специализации на убийстве старушек. «Притча» Кошкина напоминает сюжет о возвращении Одиссея, истребляющего бесчинствующих женихов,

однако в современном варианте сюжет искажается и усугубляется: Пенелопу не просто объедают и оскорбляют на глазах сына, но и «ключьями рвут на ней платье, // поволокли на полати». «...Толкователи, и языческие, и христианские, видели в “Одиссее” притчу о странствии души. Так вот что такое Одиссей – “просто человек”, чью личность составляет множество связей с другими людьми. Ради этого он возвратился, отказавшись для кратковечного земного союза – от бессмертия» [Сумм, 2002: 159]. Выдерживая испытание луком и наказывая женихов, Одиссей вновь завоевывает собственную жену. Здесь же герой обучает детей коварству, выживанию при нападении сильнейшего.

Язык «Притчи» нарочито стилизован под старину, упоминаются детали старинной жизни. Форма диалога и «ужасный» сюжет отсылают к жанру баллады (подобной «Лесному царю» и др. Жуковского), однако эстетическое задание определяет другой жанр: автор не поражает воображение, но научает, причем в форме прямых наставлений неразумным детям. «Притча о тропе», имеет традиционную для притчи проблематику жизненного пути (значение слов «притча» и «паремия» – не только «случай», но и изречение «при пути», указатель пути и нечто необходимое при нем) и человека на краю пропасти. Помимо этого она отсылает и к русской поэзии: «Выхожу один я на дорогу // Сквозь туман кремнистый путь блестит...». «Кавказ подо мною. Один в вышине // Стою над снегами у края стремнины; // Орел, с отдаленной поднявшись вершины, // Парит неподвижно со мной наравне. <...> Здесь тучи смиренно идут подо мной...». «Только месяц показался, // Он за ним с мольбой погнался. “Месяц, месяц, мой дружок!..”». «На камень жизни роковой // Природою заброшен...». «С горы скатившись, камень лег в долине – // Как он упал? Никто не знает ныне – // Сорвался ль он с вершины сам собой...». «Там, где горы, убегая...». «И человек, как сирота бездомный, // Стоит теперь и немощен и гол // Лицом к лицу пред пропастью темной. // На самого себя покинут он...» и т.д. Притча о старухе, поднявшейся до врат рая, но низвергнутой в ад, напоминает о старухе с луковкой Достоевского. Таким образом, традиционное свойство притчи «возникать лишь в некотором контексте, в связи с чем она допускает отсутствие развитого сюжетного движения и может reducirаться до простого сравнения, сохраняющего, однако, особую символическую наполненность» [Аверинцев, 1971: 20], трансформируется здесь в свойство вступать в диалог с некоторым контекстом, выявляя в нем новые смыслы и по-новому расставляя акценты; а традиционная этимология слова – «в старинном языке слово приткнуть употреблялось в смысле сравнивать» [Потебня, 1990: 239] приобретает новое «прямое» значение порождения интертекста.

б) Наконец, еще одна особенность современной притчи была замечена философом по отношению к притчам Кафки. Говоря о том, что аллегоризм для него единственная форма вступить в коммуникацию и показать «тайну», «то, что неприятно рассматривать, на что не хочется смотреть», это «Ад», куда ведут «рельсы императивности», он

подчеркивает «телесность» притчи, «символизм телесной жизни» [Кругликов, 1998: 104, 105, 98–111]. Притча, жанр духовной литературы, говорящий иносказаниями о душе, действительно в своих современных стихотворных модификациях занята телесным. Это подчеркивает и сюжет убийства, физической смерти, и занятость прежде всего телом и телесными метаморфозами (лечение, еда, страдания, скрип кроватей), и внимание к мельчайшим телесным движениям и изменениям. Т.е., не отрицая духовного иносказания, эта притча считает самодостаточной и самоценной человеческую телесность, жизнь физическую.

Подводя итоги, отметим, что «заострение основного нравственного тезиса, замкнутый характер сюжета, всепроникающая символика, использование... фольклорных образов и мотивов» [Мовчан, 1976: 86], характерны как для классической притчи, так и для современной стихотворной, и говорить о размывании жанровых границ и утрате притчевости в этом смысле не приходится. Однако на уровне сюжета современная стихотворная притча претерпевает некоторые изменения, которые мы и посчитали необходимым здесь показать.

Библиографический список

1. Аверинцев, С.С. Притча / С.С. Аверинцев // Краткая литературная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1962–1978. – Т. 6. – М., 1971. Стб. 20–21.
2. Аверинцев, С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов) / С.С. Аверинцев // Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 13–39.
3. Антоний (Сурожский), митр. Проповеди и беседы. – М.: Либрис, 1991. – 110 с.
4. Бурштейн, А.И., Левит, В.И. Реальность мифа / А.И. Бурштейн, В.И. Левит. – Свердловск, 1985. [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://poetical.narod.ru/statii_b/rm_11.htm. – Загл. с экрана.
5. Зверев, А. «Ты видишь, ход веков подобен притче...» / А.Зверев // Иностранная литература. – 1998. – № 5. – С. 235–241. [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/inostran/1998/5/zverev.html>. Загл. с экрана.
6. Зиник, З. Возвращение в Дублин / З.Зиник // Иностранная литература. – 1996. – № 4. – С. 211–224. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: <http://magazines.russ.ru/inostran/1996/4/zinic.html>. – Загл. с экрана.
7. История русской литературы XX века (20–90-е годы): Основные имена / Под ред. С.И. Кормилова. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998.
8. Косенков, Б. Притча о благочестивой старухе / Б. Косенков // День и ночь. – 2008. – № 2. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: magazines.russ.ru/din/2008/2/ko47.html. – Загл. с экрана.
9. Кошкин, Р. Притча / Р.Кошкин // День и ночь. 2005. № 9-10. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: magazines.russ.ru/din/2005/9/ko24.html. – Загл. с экрана.

10. Кругликов, В.А. Пара-сказ о метафизике Ф.Кафки / В.А. Кругликов // Человек и искусство. – М., 1998. – Вып. 1: Антропос и поэсис. – С. 98–111.
11. Кукулин, И. «И говорил с ними...» Три интервью о возрождении жанра притчи в современной литературе / И. Кукулин // TextOnly. 1999. Октябрь – ноябрь. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: <http://www.vavilon.ru/textonly/issue2/parables.htm>. – Загл. с экрана.
12. Лихачев, Д.С. Первые семьсот лет русской литературы / Д.С. Лихачев // Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси. – М.: Художественная литература, 1969. – 800 с. (Библиотека всемирной литературы).
13. Максимов, В. Притча о тропе / В. Максимов // Нева. – 2004. – № 3. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: magazines.russ.ru/neva/2004/3/maks1.html. – Загл. с экрана.
14. Максимов, В.В. Эссеистический дискурс (коммуникативные стратегии эссеистики) / В.В. Максимов // Дискурс. – 1998. – № 5/6. – С. 40–48.
15. Мовчан, П. Возвращение ради обновления / П. Мовчан // Вопросы литературы. – 1976. – № 3. – С. 71–88.
16. Найман, А. Притча о неблудном сыне / А. Найман // Октябрь. – 1997. – № 1. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: magazines.russ.ru/october/1997/1/nayman.html. – Загл. с экрана.
17. Новикова, М. Соблазны / М. Новикова // Новый мир. – 1996. – № 5. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/5/novikova.html. – Загл. с экрана.
18. Потебня, А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Лекция 9-я / А.А. Потебня // Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М.: Высшая школа, 1990. – 344 с.
19. Стратановский, С. Притча о двух врачах / С. Стратановский // Арион. – 1997. – № 4. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: magazines.russ.ru/arion/n4-97/05.htm. – Загл. с экрана.
20. Сумм, Л.Б. Одиссей многообразный / Л.Б. Сумм // Новый мир. – 2002. – № 3. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/3/summ.html. – Загл. с экрана.
21. Сухарев, Д. Притча Бессудного / Д. Сухарев // Новый мир. – 1995. – № 4. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/4/suharev.html. – Загл. с экрана.
22. Фалько Ж.-М. ди, Бегбедер Ф. Я верую – Я тоже нет. Диалог между епископом и нечестивцем при посредничестве Рене Гиттона. Фрагменты книги // Иностранная литература. – 2006. – № 9. [Эл. ресурс]. Режим доступа по: <http://magazines.russ.ru/inostran/2006/9/zh8.html>. – Загл. с экрана.